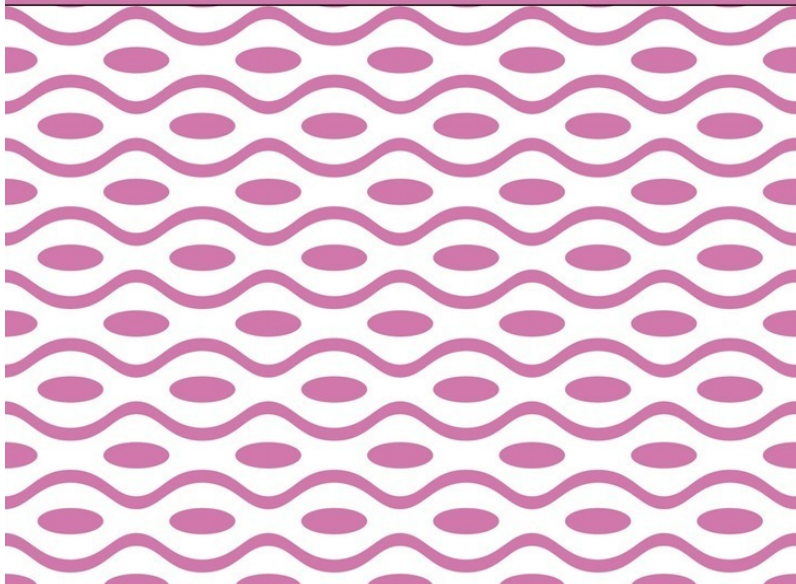


Анатолий Жариков

Influenza

Лирика



Анатолий Жариков
Influenza. Лирика

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26339200

ISBN 9785448574443

Аннотация

О чём стихи? Обо всём. Что интересно человеку. Чем интересен человек. Читайте, понравится. Я сам их сотни раз перешёпывал.

Содержание

Температура тела	5
Город. Музыка. Зима	5
Триптих	14
Рубцов	20
Март	25
В селе	27
Пиано	28
Из Вильгельма Лемана	29
Босх	31
Стреноженное	40
Кабачок Франсуа Вийона	44
Продолжая наблюдения	48
Поль Верлен. Светлая грусть	50
Хайку	51
Стансы	54
Улица	56
Продолжая наблюдения	58
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Influenza

Лирика

Анатолий Жариков

© Анатолий Жариков, 2017

ISBN 978-5-4485-7444-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Температура тела

*Человеческое, слишком человеческое.
Фридрих Ницше*

Город. Музыка. Зима

Ждану

Насторожённый ворох слов,
как мусор неуютных улиц;
и с хваткою пришитых пуговиц —
торговые ряды лотков.

Отставленного локтя ближе
приблизиться уже нельзя
к непонимающим глазам,
напоминающим о жизни.

И злы, и молоды глаза
апостолов серпа и молота.
Аптека. Улица. Вокзал.
Столовая родного города.

Маэстро стынувшей стране

в худой обувке на резине
в подземке на одной струне
концерт играет Паганини.

И граждане от злобы дня
бегут домой по снегу талому,
и тает музыка огня
на кухне в запахе метана.

А утро, трезвое как трусость,
размажет в ширину холста
меня, приятеля, мента,
аукнется похмельной Русью.

Озябшему ещё пенять
на пошлый день в косую строчку.
Жену, купеческую дочку,
на валенки не поменять.

Сними подземный переход,
расклей последнюю афишу...
И человек не подаёт,
и Бог твой Реквием не слышит.

День не годится жизни для,
прокуренный и не согретый.
И музыку уносят где-то
за край земного февраля.

Если и память залечат
или перо подпилят,
Боже, добей картечью,
чтобы всю душу навывлет.

Кореш готовит лыжи,
только без родины тесно,
на кладбище под Парижем
нету свободного места.

Да и с годами не вышел
ни суетой, ни славой.
Не отнимайте права —
чувствовать, слышать.

Если б не взошедшая звезда,
не четверг, не чётная неделя,
карт расклад бы не да не судьба;
насморк не да русские метели;

если бы не карликовый рост;
если бы не смрад и блуд в столице;
если б не отвагой пьяный росс;
если бы не ад Аустерлица;

если бы не бабьи рогачи,
если б не Давыдов со товарищи;

если б не кривой пердун с печи,
не Бородино, Москвы пожарище;

если б не, как шторм, последний штурм,
если б не уланов не жалея;
если б на века не вздыбил шум,
кто бы помнил этого пигмея.

Ресторан был раскрыт. Канун Рождества.
Заказали бисквиты и крепкого чаю.
Кто-то громко входил и бросал слова,
и слова в переполненном зале дичали.

Кто-то шумно вздыхал, кто-то резко вставал.
Поднимались и падали длинные тени.
Был январский вечер. Канун Рождества.
Говорили, смеялись, пили и пели.

Вы сидели напротив. Был канун Рождества.
И шутили развязно, и пальцами нервно
теребили салфетку, роняли слова
и топили их в мутном стакане с портвейном.

Снова вверх поднимались иплыли слова,
плыли тени, иплыли значенья на лицах.
Был январский вечер. Канун Рождества.
Наливалась вином и румянцем провинция.

В сизом дыме тонули, как рыбы, слова.
Плыли свечи, в подсвечниках таяло время.
Был январский вечер. Канун Рождества.
Шли волхвы. Восходила звезда в Вифлееме.

Круг друзей ограничен до *здравствуй, привет, как дела?..*

Обессолнечен день, как в тридцатые храм обезглавлен.
И раскроена жизнь, словно ножницами, пополам;
Достоевского словно предзнающей книги заглавием.

Обесценена жизнь, и в цене возрастает вина,
и герой возмужал. И сомнения душу не гложут.
На подрамник надев холщовый кусок полотна,
снова чёрный квадрат на белом малюет художник.

Жизни русской рулеткой отмерены нужность и срок,
и весы правосудия богу иному вручили.
И контрольную пулю, как учили, вгоняет в висок;
и напарника следом надо мочить, как учили.

*Красные помидоры
кушайте без меня...
Б. Чичибабин*

Нам ещё грызть арбуз

красный, как воспалённый глаз,
с семечками миндалинами;
есть ещё красных помидоров запас
на воле у нас, правда, горьковатых на вкус,
но которых давно не едали Вы.

На ладонях моих лучится
эта закуска, как угли, красная.
В два стакана налью за почивших
и живых, живущих не напрасно.

На ладонях моих две судьбы,
кривые линии.
Выпьем горькую. Жили б Вы,
повторили б мы.

Почитали бы вслух строчки ненапечатанные
и пошли бы вдаль закоулками-задворками,
друг поддерживая друга плечами и
икая окончаниями и красными помидорами.

Земля охрипла в воздухе ночном,
молчит ни звука не роняя.
Во всю Украину – ни конца, ни края —
накупившийся чернозём.

Оцепененье падающей тьмы,
пустая, оглоушенная зга,

как обезвоженные га,
как невостребованные – мы.

Долгий вечер, дальний вечер.
Тёплая, как солнце, пыль в горсти,
тихий шёпот: «Господи, прости
человеку человечье...»

Владимиру Баркову

Что ни случится, к лучшему;
камни рождаются с волнами.
Так вереница случаев
выточится в гармонию.

Сверху звезда светлая,
снизу земля чёрная.
Дуй за попутным ветром
сразу во все стороны.

Пулю венчали с песней,
словно душу с решёткой.
Если нечётное первое,
значит второе чётное.

Бесы с глазами детскими,
кто вы под красным знаменем?
Проза у Достоевского
сущее наказание.

Вся-то история – тени
света; и света снова
смерть, это спасение
от Богослова.

С дерева голым свистом
или закатаешься денежкой,
вымарают из списков
живые, сам-то куда денешься...

Ты лучше жизни не перечь
и смерть на завтра не пророчь,
поскольку день ещё не ночь
и жизнь ещё не стоит свеч.

И воду в ступе не толочь,
поскольку есть живая речь.
И надо эту речь беречь
и с нею что-то превозмочь.

И надо эту жизнь беречь,
поскольку день ещё, не ночь.
И надо что-то превозмочь,

поскольку жизнь не стоит свеч.

Такая даль, такая ширь, такая грусть.
И не замечу, как однажды не вернусь.

Триптих

...Мы платили за всех, и не нужно сдачи.
И. Бродский

1.

Мы и счастливы тем, что мы просто люди,
что не знаем, что было, и не помним, что будет.
И грешны лишь в том, что на этом свете
после тех двоих появился третий.
И что дождь слепой, и что ветер порхатый,
мы сегодня и в этом уже виноваты.
Если б не было ада и райского сада,
мы бы мудро придумали это сами.
И чтоб небо с овчинку, а щель с баранку
показались, избрали вождей и тиранов.
Время выйдет, помрём и за кошт казённый
станем частью земли, а потом чернозёмом.

2.

Мы построили сами костыми и стихами
беломорканалы, амуры и бамы.
И теперь, назвав историю дурью,
вспоминаем про это, когда закурим.
И, чтоб наши вожди, дай бог, не проснулись,
именами их называем улицы.
Если уж ползуч, зачем ему крылья.

Если мы в дороге, значит, будем пылью.
Мы звенели словами, шумели медью,
мы составили речи из междометий.
А читая стихи и пия от скуки,
мы не знаем, куда деть ненужные руки.

3.

Мы не любим кулак, что нам тыкают в морду;
мы бедней индейца и богаче Форда.
Мы смеёмся так, как гогочут гуси,
мы не плачем, когда над нами смеются.
Мы сначала посеем, потом запашем,
всё, что после будет, будет нашим.
И что после запашем и что посеем,
отдадим попугаям и канарейм.
Мы б хотели жить, и как можно чаще,
нам хватает ста капель для полного счастья.
Наши кони храпят, горят наши трубы.
Мы ещё научимся целовать в губы.

Деться б куда, да некуда деться,
я уже чувствую сердце и сердцем.
В грубых заплатах худая одёжа;
новую шьют, не рано ли, Боже?

Колеры вышли, и снова в два цвета
вечный узор вышиванки поэта.
Сорок моих сороков подорожных

миру явились. Боже, не поздно ль?

Я не безгрешен, и ты уж не сетуй,
если молитвы в словах моих нету.
Плоть мою жалко: кости да кожа.
Нас разделяет не слово твоё же?

Плохо писать не хочется,
а хорошо не пишется.
Жду, что моё одиночество
станет её величеством.

Поздно, однако. В люлю, баи.
Не снизойдёт высочество.
Водки не пьёт, чай не хлебает
кровь голубая, белая косточка.

Уже воспоминанья тень —
не часто, не отчётливо, не смело:
свет глаз не ярче света тела.
Был вечер. Было утро. Первый день.

М.Х.

Нам тесно на своей земле,
и пчёлы на цветы садятся.
Не долго остывает след;
нам тесно на своей земле,
на красной глине, на золе.
Песок не держится на пальцах.
Нам тесно на чужой земле.
И пчёлы на глаза садятся.

Путь проклят, истины щербаты,
кровь на глазах и на руках.
И поводырь – то дым, то прах,
то грязь в ногах, то дух крылатый.

Двенадцать с ружьями бредут,
за ними пыль и дым столбами.
И дети с выпуклыми лбами.
И с рифмой рыночною шут.

И пёс. И золотая цепь.
И свет горбат. И жребий слеп.
Венец опал, и розы смяты.
Устал, плешивый и брюхатый.

Ещё не ясен приговор,
мучителен процесс дознания.
И жизнь взамен торгует вор

на миг безумного признания.

Из пропасти растущих глаз
взошли ответы на прошение:
и оправданье и прощение,
и приглашение на казнь.

Что человек? Живуч веками,
тысячелетья за спиной;
когда должно быть с головой,
есть, как и прежде, с кулаками.
Есть страсть делить вино и хлебы,
и грязь, и голубое небо.
Но тень по-прежнему чиста
того проклятого креста.
И выше той горы святой
ни в сердце места,
ни в искусстве.
Невыносимо. Больно. Грустно.
Но путь один. И место пусто.

Бог – свет,
горящие лучи – мы,
уходящие от света.
Борис Пастернак
Столько лба, что места
на Сенатской площади.

И в зрачках судьба.
И лицо породистой лошади.
Батюшков
И между всяких прочих
каурых и гнедых
рождался дивный почерк
российских пристяжных.

День ставил ногу в стремя,
рассказывал захлёб,
опережая время,
переходя в галоп.

День умирал нелепо,
тянул и долго гас,
уже при свете слепок,
при подвиге рассказ.

Невыносимый прочерк,
не выявленный стих.
Не явленных пророчеств
колокола живых.

Рубцов

Две родины в одну слились;
погоста тень, мазута слизь.
До звука смертного сопрано
равнины даль и неба высь,
щемяще, сучье слово жизнь.
И органично и органно.

По лужам ласточкой раскрытою скользит,
во взгляде влажный блеск, зовущая истома.
В её руках парящий дождевик.
Раздвоенный язык в раскатах грома.

И у виселицы последнее желание,
и у зрителя великодушие ложное.
И поэзия – крови переливание
из пустого в порожнее.

Всё прекрасно в ложном начале —
вера, юность, отчаянье.
И брусчатка, что вниз к реке
как зерно в хранилище сыплется,
стёрла угол на каблуке.

Время поло. Ничто не движется.
Только взгляд ленивый скользит,
не вникая в превратности зеркала,
что растянутостью исковеркано,
а не рожей. Поздний транзит.
Та же улица, мршавость дома,
под лопаткой удушья истома.
И отсутствие матерных слов
на зашлёпанном краской заборе.
Тот же сумрак и сырость углов,
стоит лишь развести шторы.

И разговор о жизни точится
о разговорец уже о здоровье;
и за пазухой у подруги – бессонница,
овоци и молоко коровье.

А небо безмолвно, и, значит, безбожно,
и, значит, не договориться;
и, значит, проще: случиться не позже
вчера, чтоб сегодня ничему не случиться.

Так как время, теряя нить сюжета,
кружит кругами вороньей стаи.
И тело наполовину уже в предметах,
отдающих тепло свет принимая.

И венки желаний, дурную бесконечность

какого-то Дантова круга,
разумней использовать в качестве подсвечника
ночью, когда порвёт провода вьюга.

Зачав от ветреной погоды,
как песня от воздуха птичьей свирели,
поздняя осень, женщина после родов,
обнищавшая в теле,
уже равнодушна к ветрам
и холодна в постели.

Хозяйка прямо с утра
янтарную кровь в бутылки
разливает. В штaketнике не хватает ребра
ещё со дня сотворения мира
послевоенного, с тех пор, когда
рассветы в Киеве не бомбят в четыре

по московскому. А слово *да*
произносим сегодня, как бес без *б*,
что так же грустно, как на трубе
грустно *Б*, когда упало *А*.

И окончательно впадая уже
в подражательность, замечаю,
что осень печальна без окончания,
как слово Человек в именительном падеже.

И нищие и вдоль и поперёк,
и скоморохов пудренные лица.
Обвислый зад зажавшейся столицы
щекочет запад, а потом восток.
В провинциях, однако, всё как встарь:
блины пекут, отцеживают брагу,
расчёсывают новый календарь
и рубят ясли новому варягу.

На талой башенке портала
звучит солёным солнцем медь.
Одним лишь оком поглядеть —
и видеть: небо опростало
глазницы мутные свои,
чтоб видеть: прилетели птахи,
и, отделясь от синевы,
идёт видением рубахи.

На полдень солнце налипив,
художник думал, что из света
вернётся умершее лето
и моря жёлтого разлив.
Зачем тогда он показал
внизу, в углу два быстрых слога?

Глядите в жёлтые глаза

вчера ослепшего Ван Гога.

Март

Ветер колкий, но уже слабый,
день морозца, день мерзкой хляби.
Налились поволокой бабы.
Март. Увлажнённая почва
в предвкушении творчества.
Немного тепла и больше
ничего не хочется.

Упрощается до дыхания шум.
Без желания не задуть свечу.
Мир – один закопчённый чум.
Ты, пока ещё видят глаза,
интересен другим, но за
перевалом глухим твоим
ни хрена не растёт. Даже дым.

Вы, изысканного словца
девы, имели в руке творца
бороду, а не что иное.
Что укропом мой огород,
в марте словом набряк народ.
В слове память: кто мы такое.
Март – глагол,
ещё в состоянье покоя.

Нас не возьмут. Не вышли лбами,
сошли с лица и потеряли след
сегодняшних, за Христофором вслед,
как банки, открывающих Багамы.

Пусть утолит нас кисленький портвейн,
залечат уши пошлыми словами.
В сравнение с нашей закусью – всё тлен —
откатанными в юность рукавами.

И тяжелее стали двести грамм,
и легче, пластиковые, стаканы.
Страна, мы угощаем, падай к нам,
давай на брудершафт, родная, с нами.

Твоё дыханье тоже тяжело
и речь пьяна. И мы уже устали
из сил последних вдовьими устами
шептать: «Не первородно зло...»

В селе

Та, что темна своим древним именем,
разбудит утро глазами синими.

– Знаешь, милая, за окнами-ставнями
снег семь дней стоит нарастаянный.

Я дорог пророк, ты любви пророчица,
мы уже прочли сто лет одиночества.

Мы уже забыли земные заповеди,
на «сходи-принеси» говоришь: «Сам иди».

Мы уже сто лет как уже не болеем
и живём сверх срока, как вождь в мавзолее.

Мы по Гуглу на шару смотрим фильмы разные,
или «С лёгким паром» или что подсказывают.

А когда метель закрывает ставни,
зажигаем свечи или в снах летаем.

Пиано

Николаю Хижняку

Кипяток на горку чая в чашке,
тёплые носки да чистая рубашка,
луч в ловушке синего стекла,
сигареты, вечер, свет и мгла.
Убеганье, приближенье снова,
колыханье, колебанье. Слово.
Первые знакомые черты.
Боже, я готов, готов ли Ты?

Из Вильгельма Лемана

И ранняя заря, и поздняя заря
не остужают воздух сентября.

Из пепла крылья бабочки. В начале
от Бога Слово, после – от печали.

Горсть чернослива, связка чеснока,
ведро глубокой влаги. И века.

Плоды уже медвяно липки
и вытекает жаль из груши,
обшарив сад, нас обнаружив
глазами не рождённой скрипки.

И ветер паутины нить
находит и тревожит синие,
дрожа на кончиках ресниц
чувствительными Паганини.

Неглиже от second hand,
гвоздь советский из штиблет,
чай, полпачки сигарет,
гость вчерашний на обед.

Вам, щетина, сколько лет?
Сквозь газету тихий свет,
вроде светит, вроде нет.

Не всё так близко, что слышится,
не всё так хорошо, что пишется,
не всякая икона светится,
не каждая – в небо лестница.
И слово, что на заборе
начертано, – не история.
Не всякая птица – ворон.

Хозяин из меня совсем никудышный,
ни молотка, ни гвоздя, ни отвёртки в доме,
одни мыши
и ветер гоняют куски соломы.

Город, в котором живу я, вымер,
дома и улицы разбрелись по свету,
и никто не помнит даже имени
страны, которой у меня нету.

Босх

В конце зимы или весны
запахло рыбой, луком, салом,
войдя в стихи со стороны
плевков гремучего вокзала.

И там, где оборвался звук
и свет творившего концерта, —
следы слипающихся рук,
вылавливающих консервы,
вычёсывающих из волос,
выскабливающих из расщелин.

Мне эту музыку принёс
пёс, пёсией обглодав свирелью
желтея жуткостью луну,
когда у вас скрипели перья,
пыля заказом на дому.

Я рисовал бы Тайную Вечерю каждый день,
крепкое тело Петра, тайное лико Иуды,
хлеба нищие ломти, кровь винограда в сосуде
и за окном неподвижную серую тень.

Прах замочил и придумал бы светлого Бога,

мне одного из шести хватило б усердного дня.
И охранял бы Его от тоски и тревоги
тех, кто в тоске и тревоге придумал меня.

Тёплый чай, вино, сигарета
и не жмися – который час? —
разумеешь, что времени нету,
только место, роднящее нас,
что по некоей формуле строгой
округляет в бокале янтарь.
Пей глазами, пальцами трогай.
Бьётся дым в потолочном зените,
как моё глухое «Простите...»
и неслышное Ваше «Жаль...»

Из сплетен круга, друга тыков,
билетных сводок, газет между строк,
затылков и взглядов, и чувств обрывков,
да из того, что щедро отвалил Бог,

судьбе нелёгкой, драконьей, сиповой,
как обидную фигу выкрутил на бис,
вышептал, выговорил, выхрипел из лёгких, из
спешно бегущей крови нежным больное слово.

Чтоб остаться, опрокинувшись в зрачке фотоаппарата,
сидеть, положив на кота свою рыжую котячью лапу,

и затем, сморгнув на Васильевский,
на промятом диване залечь
в отстранённой, чужой земле,
где и в спальне чужая речь.

Он разум тешил байкой о пространстве,
поскольку опасался темноты,
что в храмине в углу, вечерней,
но более стеснялся пустоты
в стране, где не имели земли
в своём размахе тяги к измеренью,
вернее, в упрощенье постоянства.

Построил город на хребте холопа,
и в то окно, что прорубил, Европа
три века с изумленьем зрит
на лапти на ногах кариатид.
Что поднялось, не опустив другое?
На тёмной вере варварская Троя
замешена и потому стоит.

И ночью, разметав подушки,
как пойманная рыба, через рот
дышал дыханием болот.
Купцы, бояре, хлопы, воровьё —
не выпущу! – поскольку всё моё.
Ум потеряет счёт подушный,
когда историей стечёт.

«Он держит жезл в одной руке, другой
сгибает, как тарелки, мир дугой.
В усах усмешка, что твоя гроза,
рассеяны в далёкий день глаза.
Какой-нибудь потомок мой на *-не*
внесёт его на бронзовом коне,
коли не разворуют медь в стране».

На дубе с потревоженной корой —
глядела женщина – как распускались ветви, —
глаза от солнца заслониw рукой.
Лаптём хлебая щи, жуя наемни,
зевал Евгений, и скучал Лаврентий.
Снаряд, отпущенный рукою росса,
рассёк простор, осматривает космос.

Весна. Полдня предложению суставы ломаю,
правила синтаксиса вспоминая.
Земное по дождю соскучилось наверняка,
как по слезе щека.
Молодые деревья не краше старых,
тощи, как первые овощи на базарах.
И как акварелью апрель ни прикрась,
на большаке после дождя грязь.
Так и при каждой новой власти
будет неточной рифма «краше».

Повзрослел, оmaterился, шершав и груб,
слабо быть солистом водосточных труб,
дорогой мой, и не заметил, как сапог фижня
высекла подковами физиономию дня.
Лестница, что в небо, для тебя мала,
как и гульфик, что Москвошеем шит,
если б иных туда посылал,
был бы не так знаменит.
Сад твой зачах, идеал сдох
ещё до того, как услышал сам,
ещё до того, как шестипалый дог
начал откусывать руки творцам.
И покатилося по раздольной Руси
на трёх, на двух, на одной оси;
вынь свинец, любого спроси —
кто ночью подушку не грыз: «Спаси!»
Впрочем, наша жизнь вертикаль,
хорошо, что был ты, высокий враль,
хорошо, что есть у тебя строка
о том, как ходили в твоих штанах облака.

Там вёрсты кругом, ни души вокруг,
снег не скрипит в ногах, слеза не тает.
Как мячик теннисный, отпустишь звук
в какие-то межзвёздные Алтай.

Ни телефона. Подперев плечом

причал, прощёптываешь: «Мать родная!...»
И свет из глаз рассеется в ничём,
уже ни в чьих других не повторяясь.

Две вещи, которых не тронет тлен,
вызывающие ужас, уничтожающие страх:
женщина, живущая на земле,
Бог, обитающий на небесах.

Заверните меня в кожуру от слов,
начертайте на камне: «Здесь был Иванов».

Не ломайте речь, не курите дымов,
успокоенный не любил «Дымок».

Я возьму с собою краюху дня,
посолите крупной солью меня,

из кромешной мути той книги книг
зачитайте вслед самый первый стих.

Я уйду, себе пожелав «будь здоров»,
выбивайте пыль из моих ковров.

Где-то в середине уже, замечаешь, в конце сентября
осень ушедшим сильна, как подагрой колени,

небо открыто весёлой завесой дождя.
Вся-то молитва – ветка мокрой сирени.

Листья жгут. И не жаль сентября.
И тоска по чужим и родным.
Там, где стелется съёжившись дым,
это я без тебя.

Сбиратель слова светлого, плебей,
орган из паутины лета,
ты чьих крестов кладбищенских, кровей
чьих? из какого света
пришёл? и из какого мрака
явился?
Я не знаю. Снова
в кусочек праха и в кусочек слова
хочу, как на луну собака.

Летел самолёт (информирует), разбился,
погиб и пилот,
но не было на борту ни одного украинца.

Чума, холера, от города куча пепла,
загрязнение, облысение, теракты.
Мир потух к чёртовой матери.
Но наших там не было (информирует) и в помине

не было.

Как жизнь моя, зачитанный твой том;
мой Гоголь-моголь, вот мы снова вместе,
и чувства о поэтах на потом,
и жизнь, как из ноздрей Ноздрёва, хлещет.

Наш разговор до смеха невесом,
наш бог латает знамена Господни.
Нос ходит, бес летает, колесо
вращает мир, из почвы червь исходит.

Стихи начинались, возможно, тогда, когда
(слава гомерам и гесиодам!)
слово выстраивало города
и море распахивало, как огороды.

И с обрызганных солнцем земель,
ёжась и приноравливаясь к морозам,
от которых выл и сибирский зверь,
приходило к нашим дубам и берёзам.

И рифмуя с кровью любовь,
сердцем араповым угадывая начало,
скатывало корявую с языка боль,
от ногтей и до самого позвонка дышало.

Русское слово тяжелей креста,
ломающего плечи идущему в гору;
из петли выткано, вылитое из свинца,
выдублено из сквозняка и простора.

Знал Создатель: не резон отдавать
меры не знающим и задаром
мерно текущие, как вода, слова,
растащат по кабакам, чердакам, базарам.

Ходят с посохом и сумой,
с миру по буковке, отделяя от половы,
собирают, блаженные сердцем и головой:
забери, Господи, своё Слово.

На полу, вымытом до нищеты видимой.
В воздухе, заражённом йодом и валерианой.
Под полоской света из щели оконной.
На самом дне дня, развалившегося на два.
И глядишь обалдело:
навсегда совпавшее со своей тенью,
ещё не вещь и уже не вещь, тело.

Стреноженное

1.

Поэзии русской помойки гребать,
выпрыгивать в окна и спать на чужбине,
далёкий размах океана и ныне
и присно да Парижская мать,
да пражские стены, германские камни,
камея Швейцарии, плоть корсиканки
да Греции ветхие пни и горшки,
помилуй мя, Боже, я – сука тоски,
я – вой на луну, третий глаз Моны Лизы,
не видим Тобою, не выжжен отчизной.

2.

По горсти отбирала у моря,
чтоб глядеть, по глотку у простора,
чтобы петь. Ни вины, ни укора.
Ишь,
в доме том вместо платья висишь,
как ножом порезана тишь,
по России по ком голосишь?

И вот тебе и дай и на,
зимой дождём захлюпала страна,
и грязи потекли по всей стране,

и за ворот и за ворота. — Не
выходи и не распахивай пальто,
на улице февраль и воздух свежий,
и люди – если встретишь, то
в глаза надышат, то полжизни срежут.

Размозжена дорога, ветер злой,
знобит поля и ни души одной,
голодным хатам челюсти свело.
– Брат город Каин, где твой брат село?

Дым в ноздре, дом без крыши,
день в дугу.
Завтра кто-то допишет
ху из ху.

Худосочная жижа,
рыбий жир на меху.
Даже если хреново жизни,
любопытно стиху.

Плывёт земля и облака над ней,
и под спиною мощный аппликатор
из щебня и стеблей; то слово Сартра,
то сон Дали в далёкой вышине.
То птица (хвост бы свой подать

туда, где звук не означает смысла
уже). Парящим – благодать
и в бреющем без мыла.
Что будем делать, Отче? Ни шиша
не отстоялось, но отшелестело.
Ты видишь, мой невидимый, душа
уже гораздо тяжелее тела.

К вечеру службу несут опера
за город, где вода; и чайки
падают с неба, как якоря,
или как «бля» с губ поэта нечаянно.

Как дистрофика взбадривает доза кодеина,
от дневного света лечит вечер.
Век двадцатый отказался от свечек,
как двадцать первый от карабина.

С юга на север идут облака,
собака на запах, как мотылёк на свечу, и
за днём следует ночь, как
за двадцать первым двадцать второе июня.

Жизнь кладу на Божьи весы:
годы, годики, дни, часы...

Тень в ногах от большой птицы
беззвучна, до сорока
по Цельсию свихнулся август, литься
словам лень. Тоска
бесконечна, как сюжет Евангелия.
Такое-то время, высокий свет,
закладка в книге воспоминаний,
или страница из книги, которой нет.

На сонную муху села сонная официантка.
Расхотелось жевать. Осень напоминает фугу,
повторяясь в дождях и франтах-
листьях, уходящих по кругу.

В осени гуще время, плотней пространство,
шагая, только и слышишь свои шаги.
Уходя в никуда, утешаешься всё-таки
неутешительной континуума константой.

Неуверенно просишь повторить, горло
дышит севером, ответ на вопрос «сколько?»
опускает осиянную голову
на жалкую сдачу на плоскости столика.

Кабачок Франсуа Вийона

Здесь грызла кости маета метафор
такая, что, упав на столик,
официант, рванув рубаху, плакал,
как алкоголик.

Здесь сиживали Лермонтов и Блок,
и стриженные женщины Бодлера
им пели и плевали в потолок
и в биосферу.

Здесь, не поймав мыша, плясал чердак,
и стены падали, и неуклюжесть Баха
была сильнее, чем тёмный кавардак
Бетховенского страха.

Здесь правил африканский тамада,
имея скулы древней пирамиды.
И если кто-то суесловил, да
был битым.

Здесь чувства и огромные глаза
расписывали Босх и Врубель,
и опускалась чёрная звезда
собаке в руку.

Здесь было место для убогих всех;
весна цвела, гниение отбросив,
и жрал стихи в камине красный смех,
обезголосев.

Василю Стусу

Поколению заплёванных улиц, стандартных домов
посвящаю победный свой хрип над судьбою; отрыжку
всех великих затей громадьи и могил без гробов
возвращаю, как фраер фартовый, наличкой
той великой державе закрытых решётками глаз,
наши спины ласкавшей когтистою лапой самицы,
забывавшей про имя, крестившею цифрою нас,
где друг дружке аукнуть, и было в лесу заблудиться;
отрывая от локтя помятое дверью крыло,
прижимая к губам, как бомжара с горилкой посуду,
где метались солёные зубы меж выбитых слов,
сохраняя в последнем сознание «я всё-таки буду»,
я, рождённый садовником быть, белых роз
воспеватель, выхаркивал строчки о мрази;
в новый век созидателей новых фантазий
старый город каштанов меня, разыскав, перенёс.

И день не заберёт, не даст,

и ночи не дано её измерить,
создать такое можно только раз,
не зная самому, что с этим делать.

От жажды умирали над ручьём
тянули нескончаемую требу,
кривили губы чёрные: «За що?»
и не было руки делить семь хлебов.

Боже мой, я скажу, когда мне надоест
подниматься по грязным ступенькам подъезда,
долго звякать ключом, в дверь ввалившись, засесть,
не раздевшись, в берлоге, в окопе, в насесте.

Я скажу, когда горькою станет вода,
кислым хлеб, когда муха за рамой
станет белой, а с неба ночная звезда,
отгорев, упадёт на траву за оградой.

Я шепну, когда длинная тень по углам
перестанет метаться и станет короче,
разговор, как ни кинь, начинается там,
где кончается слово и ставится точка.

Я откроюсь, что славил пустые углы,
петлю куртки, а не обитателя оной,
улыбался просто оттяжкой скулы,

ждал не писем, скорее, шагов почтальона.

Но я был приобщён и к иной красоте
в те минуты, когда и не думал об этом.
Что скрывать мне в твоей неземной пустоте,
когда стану невидимым в этой?

Шесть снопов собрал, вяжу седьмой,
никому не нужный, будет мой.

Продолжая наблюдения

Осень – изношенная одежда лета,
каждый второй в государстве лишний,
и спутник необходим планете,
как фи́га пустому карману нищего.
Фаллос – древко знамени животворящей глины,
то, что случится с нами, – результат бессилия
времени перед пространством;
по-настоящему страшно —
остающимся в этом мире.
И потому как жизнь – игра
и смерть, как следствие азарта,
сегодня – это вчера,
переигравшее завтра.

Не сбежать лопаткам, проколов матрац,
и в подушку надышишь прадавнее *ууу*,
ночью пряди растут быстрее, чем глаз
состригает их золотую копну.
Эта кость жива; повторяешь её
всю в подробностях, сколько можешь мочь,
и сквозь тёмные обмороки хрипишь: «Моё!»,
о ребро крича как в шестую ночь.

Темы немы,
стихи, как с женщины покрывало, —
преодоление материала.

Поль Верлен. Светлая грусть

Поль Верлен, старик бессильный,
грусть без боли, где твой дом?
Словно ангел чистит крылья
золотые под дождём.

Поль Верлен, старик бессильный,
дождик льётся, ветер злой.
Словно ангел чистит крылья
между небом и землёй.

Хайку

*

Есть ли мне место? —
сон-трава, ковыль, мята.
Сук над головой.

*

Лист выбросила
узкая рука ветки
в стакане с водой.

*

Кто-то вышел из
моей светлой комнаты,
сумерки в окне.

*

Он, она, оно,
они – все должны быть
родственниками.

*

У этого су-
щества есть два яблока,
это женщина.

*

Сон, бред, боль – роца
в преждевременных родах,
ночью будет снег.

*

Полоска реки.
Стая чёрных птиц в небе.
Умерло время.

Домой вернулся Одиссей,
на век состарилась Европа,
и до нуля число гостей
уже остригла Пенелопа,

в себе замкнулась. И камин
рассыпался. Прошла эпоха,
не колыхнув рядом гардин.
Вино допил, собака сдохла.

Зачем куда-то уезжать?
Вернёшься, всё забудешь снова
на той странице, где молчать
над тройкой букв, держащей слово.

Я видел души в профиле лица
чиновника, поэта, подлеца,
тень закрывала веки им, однако
я не заметил в них ни тени страха,
и независимо, какими были уши,
ничем не различались души.
Вздымался несгибающийся перст,
потела в жмене суетная сдача,

вослед нам скручивалась фи́га на удачу,
не изменялись души, как окрест
не изменялись контуры ландшафта,
всё так же уголь выдавала шахта,
где часто падал снег, валили лес,
кидали лохов ловкие кидалы,
святили пятый угол мусора,
играли Моцарта. Да так, что и тела
им аплодировали в вечно тёмной зале.

Друг на друга больше не плюют
и на зло не машут кулаками,
не желают; и спокойно мрут,
словно мухи за осенней рамой.

Меч не вынут, яда не нальют,
пулей не шугнут ворон за речкой.
Произносят пакостные речи,
скучно пишут, в одиночку пьют.

Стансы

Стоит сто лет село, течёт река,
за время опустевшая на треть.
Жизнь эта потому и коротка,
что каждое мгновенье слышишь смерть.

Как зеркало, высокий окоём,
как виселица, за селом качели.
Так медленно и тихо мы живём,
что сыновья отцов забыть успели.

Говорю, что беспомощный,
говорит, что бессовестный.
Так и живём с Божьей помощью.

Позёр от искусства, он дважды кликуху менял,
и дамы в провинции щепы домой уносили
от сцены, на коей Вася шампанским писал
последнее псевдо своё: Крылатый Василий.
Сейчас мы сидим за столом в вечернем кафе,
в какой-то Италии, очень похожей на птицу,
Василий устал, постарел, пьёт остывший кофе
и долго жуёт иностранную сладкую пищу.
Одной стороны, как-никак, родные, считай,

мы долго молчим между первой «за нас» и прощальной,
нам снится отечества дым и солнечный край,
где всё изменили давно и нам не сказали.

Улица

*...Ему постоянно хочется
падать – вверх.*

Фр. Нищие

И день монотонен, и голос пропал от вина,
и звук потерял через годы простуженный колокол,
и тает по телу похмелья тепло, и вина
выходит на улицу в тапочках старых и голая.

Она не кричит и не бьёт себя в грудь кулаком
и только глядит, игнорируя ваши вопросы.
Всё дело за светлым, сыпучим как звёзды, песком.
И падает свет, как последний глагол дикоросса.

От Валерия до Иосифа
две войны да стихов россыпи.

В новом веке, после Иосифа,
все поэзии несерьёзные.

Что поэзия? В зеркале трещины,
красоту растерявшие, в сущности.

Плохо пишут красивые женщины,
некрасивые пишут глупости.

Всё пройдёт (Соломон, Бруно...),
что нам вытереть, если не плюнут?

Говорил: не шуми, не дыши, притаись,
притворись, что не знаешь ничем, ни землёю, ни деревом;
не услышала, не поняла, и дворовая кисть
обдирала по-чёрному небо, дороги по-белому.

Как лицом перед краем, листом стервней на ветру,
дуй на слабые, тонкие, нежные, славные пальцы.
Научиться, как в бубен, башкой ударять в пустоту,
уходить одному в темноту и её не бояться.

Продолжая наблюдения

Мясник тем и отличается от врача,
что не оставляет в теле меч, а

дождь гораздо шустрее снега, верно,
так как последний родитель первого.

А может как раз всё наоборот,
хотя какая разница, что попадает за шиворот.

После дождя – лужи, после снега – лыжня,
после жаркой любви – малышня.

В словаре слова, у грека
чебуреки и лодка через реку.

У кавказца кинжал, жена и сакля,
у немца война, футбол и пиво.

У запорожца оселедец и сало,
у русского ни хрена, но всё равно красиво.

У прозы зубная боль, у стиха рифма,
можно допрыгать до самого Рима.

Я шёл по улице, там синтаксис упал
до подошвы, как в дни войны УПА,
стиха, и языки пылили
на в лужах расцветающие лилии.
Поскольку день по курсу равен ночи
был, был сентября конец, и строчки,
как листья, без стыда горели
и шелестели, как бельё в постели.
На рифму вся осмысленность легла,
убогой, ей невыносимо было
нести за слогом уличную силу,
ломая два серебряных крыла.

Врут, как и прежде, Басё,
блудят и гадят,
но поднимай чернозём
туши в тетради.

Псы в ту эпоху ли,
суки ль в эпоху Сталина,
как далеко ушли
твои сандалиии?

Ни хайку, ни танка
храм не разрушат,
время нальёт в стаканы
чай ли, sake, и слушаем:

из твоего далека
с бамбука на ивы ветку
переливаются три стиха,
привет нам.

На покатых скамейках пустынного ожидания,
под нависшей над вами электросетью;
у ж/д платформы запах метана
и запах мазута в ж/д буфете.

Даже запах прощанья не перебьёт запаха пыли,
запах грусти вокзальной – запах металла.
Мы когда-то прощались, значит были
вместе, потом растаяли

в дыре времени, в глазах пространства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.